

ЛЮБОВЬ

Сейчас стоит август. Золотая пыльца разлита в воздухе, летит над каналами, над кучками мусора: оберткой ли мороженого, палочкой, сухими листьями или просто скопившейся пылью, а тополя по каналам блещут своим листом и шумят, шумят.

Я прохожу под этими тополями... Я поднимаю свое лицо и смотрю вдоль канала: ах, никуда я не смотрю, я думаю: "Ах, зачем это случилось, зачем это произошло, зачем я куда-то поехал и где-то влюбился, заранее предчувствуя, что ничего хорошего из этого не выйдет, и все-таки я на что-то надеялся, ждал, как и сейчас, когда я каждый день выхожу из своего дома и иду на почту, по дороге проверяя почтовый ящик, иду, чтобы протянуть паспорт в прорезанное в стекле оконечко и, услышав, что ничего нет, повернуться и молча возвращаться назад, чувствуя одиночество, усталость и горе".

А тополя шумят, шумят.

Странная эта история...

Наступит ли день, когда я войду к нему, аккуратно закрыв за собой дверцу южного дворика, а он будет стоять на крыльце, и я мрачно подниму свои глаза:

— Убивай! — скажу я. — Ты этого хотел, так убивай!

И он с яростью поднимет кулак над моей опущенной головой и мешая азербайджанские и русские проклятия будет исступленно бить меня, пока я не упаду в пыль и... ногами, ногами... как собаку, ибо, как она сказала мне однажды,

ды: "Лучше свой, как собака, чем чужой".

Портной, тиран, бай... Домик в Ашхабаде, домик в Ка-ра-Кале.

Да, где-то видится мне на одной из ашхабадских улиц дом с побеленными стенами, дворик, машина, зарешеченные окна, женщина, стоящая перед входом и черноглазый мальчик то и дело говорящий матери: "Гяль бура." /Иди сюда./

И он, стоящий на крыльце, он, мрачно смотрящий на эту женщину и свою жену, он, недовольный и злой.

И я вспоминаю слова, которые она однажды сказала мне, сидя по-турецки на пледе, постеленном на кушетке: "Ах, как бы я хотела жить в своем доме в Ашхабаде, если бы не отец".

И все во мне рвется и поднимается слезами, и хочется мне вскрикнуть, как восклицали и будут восклицать тысячи несчастных влюбленных: "Где ты?!"

А тополя шумят, шумят...

Кто мне поможет, особенно когда чувствуешь свое беспомощие перед неумолимым роком, что подобен морскому валу, а ты стоишь и смотришь в море, а волна несется на тебя, и ты знаешь, что тебя все равно захлестнет, даже если бы ты и постарался от нее убежать, и лишь одно остается: прямо смотреть ей в глаза, ожидая, когда она тебя настигнет.

Кто мне поможет, да и зачем, когда этого не хочет и эта девушка с мудрыми глазами, с пятидесятилетними, как я сказал ей однажды, когда она, задумавшись, смотрела в окно?

Кто мне поможет, когда и она этого не хочет, потому что "давно уже устала", и только страх слышался мне в ее голосе, когда она, вспоминая свою жизнь в отцовском доме, рассказывала, как страшно взглянуть отцу в глаза, и как, наливая чай, боишься пролить мимо чашки.

"Он сначала убьет мать, а потом меня, если узнает, что я за русского вышла", — говорила она и тут же вспомнила, как однажды, сидя со своей матерью наедине, она сказала: "Мама, помолись, чтобы папа умер".

На это она услышала, что так недолжно говорить и тем более об отце и еще нечто следующее: "Он нас с тобой переживет, он бережет себя, он не пьет и не курит".

Портной, тиран, бай... Домик в Ашхабаде, домик в Ка-ра-Кале...

И вот теперь ни телеграммы, ни привета.

Странная эта история...

И особенно странная, что никто не знает, кто прав в этом мире и для чего существует этот мир, в который хочется все время смотреть, как в глаза любимой, глаза, в которых застыли тысячелетия: вон дорога пылит, то ли это набеги кочевников, то ли караваны верблюдов, смотрящие вдаль такими же печальными глазами, где пески и барханы, сухие степи — один такыр — и больше ничего, разве только в ясном небе вытянется стая журавлей. Велик Аллах!..

.. Велик Аллах, и нет печальнее любви под солнцем, если к ней примешиваются слова: национальность, нищета, и поэзия.

Так с чего все это началось, с чего все это началось? А началось это с того самого южного дворика в туркменском селении, состоящего из окружения небольших домиков, обращенных друг к другу виноградниками в виде беседок, где по вечерам, собравшиеся ужинать семьи, могли издали видеть друг друга и даже перекликаться.

И вот в этом дворике прямо по ходу был белый домик, так напоминавший мне домик в одном итальянском фильме, домик с одним зарешеченным окном, перед которым висело на веревке белье, да два абрикосовых дерева стояли перед входом.

По вечерам окно светилось, за занавесками мелькали тени, когда мы приходили к нему с моим приятелем, человеком толстым и в своем роде оригинальным, ибо он ходил в тельняшке с санитарной сумкой через плечо, где по обычанию лежала бутылка, которую он время от времени доставал и, влив в запрокинутую глотку изрядную порцию, ^{р)} хахал, дышал чесноком и лез ко мне обниматься:

— Друг мой, позволь тебя облобывать, — говорил он при этом. — Одно брезе и не больше! Ныне я рад, чего и тебе желаю! На абордаж!

И мы устремлялись к светящемуся одним окном домику, как к своему кораблю-спасителю, призывающему одним глазом-огнем, мы устремлялись, дабы как-то скоротать время в нашей скучной археологической экспедиции, скучной, потому что восемь часов мы интенсивно махали лопатами в жаре и пыли, а фальшивый тон жены начальника экспедиции приводил нас в то состояние, когда, взглянув друг на друга

в глаза, мы мрачно усмехались от той общей мысли, что эта женщина с жалкими кудряшками над стареющим лицом, отвратительна.

- Мм, — имела обыкновение причмокивать и присоскивать она, как будто сосала какую-нибудь вкусную конфету, растягивая и скандируя слова, что, впрочем, но с постоянной иронией делал ее муж — интеллигентная дубина, возвышающаяся над раскопом в белых брюках и бобочке.

- Мм, Париж? Париж прекрасен. Там в любом магазине вы можете купить только четыре сорта лука! Только четыре!

Она побывала там прошлым летом у родственников мужа и отдохнула на Лазурном берегу.

- Мы, — говорила она грубым и почти мужским голосом, — в котором властность была соединена со способностью раздражаться. — Народ ленив! Его надо заставлять!

При этом она смотрела внимательно на нас, как мы работаем, и мне всегда думалось, что из нее вышла бы неплохая надсмотрщица где-нибудь в концлагере: в шортах и с плетью в руке.

Мы копали трехтысячелетней давности могильник, расположенный на холме, и когда я выпрямлялся, я видел перед собой три склоненные девичьи спины, они работали в купальниках, и ее широкую спину "свиноматки", а внизу, вдали, в чистой дымке виднелось селение: над глинобитными стенами возвышались белые, красные, сиреневые сады — пора цветения персиков и гранатов.

На исходе дня было видно, как вертикально поднимаются дымы, запах горящего кизяка доносился до раскопа, а над

селением двумя верблюжьими горбами вздымались две горы, чьи вершины были то фиолетовыми, то голубыми, а то и розовели, как весенние сады Хоросана.

- Какой красивый костяк,- слышал я голос этой несвоему существующей особы.- Мм, вот и зубки у него целы и носик. Мой мальчик, ты, наверное, был хорош,- декламировала она, стоя над могилой и держа в руке археологический нож, разглядывая скелет с тем удовольствием находки и уже своей собственности, на которую, отойдя в сторону, приятно полюбоваться.

И глядя на нее, я думал о профессиональном юморе гробокопателей, что всю жизнь свою посвящают себя этому делу в научном масштабе осквернения праха, и мысль, что я буду вынужден вечером сидеть с ней за одним столом, была для меня невыносимой.

И, пакорее отужинав, мы уходили из нашего летнего домика, над которым возвышался один кипарис, а перед дверью стояли три раскладушки, на которых валялись три бледные девицы в брюках с книжками в руках, а из домика то выходила, то входила в него в одном купальнике "начальница", тут же у входа раздавалось бравурное мычание начальника, что, склонившись над ванночкой, промывал свои археологические находки, начальника, который постоянно возвышался над всеми в белых брюках и бобочке и который иронически обращался к своему инфаркту, как к своему лучшему другу: "Мой инфаркт мне говорит то-то и те-те", как, впрочем, он иронически всегда на людях говорил.

- Мм, Париж? Это вам не какой-нибудь там Ленинград

или Жмеринка. В Париже одних ресторанов 8 тысяч штук. Я уже не говорю о парижском рынке, где все можно купить. Все!

При этом он поднимал голову от своих дел и внимательно сквозь очки смотрел на нас— что мы делаем, не собираемся ли сегодня выпивать.

— Мальчики, не напивайтесь,— распевно произносил он, внимательно глядя на нас, когда мы уходили.— Не напивайтесь!

Мы уходили в селение, к вечеру наполненное высыпавшимися на улицу детьми, возвращающимися с работы мужчинами, женщинами, в ярких и длинных платьях из индийской парчи, иногда из-под платья виднелись шальвары, выказывая маленькую ногу, обутую в туфлю-тапочку.

Мы шли вдоль заборов, над которыми возвышались цветущие сады, шли в тот последний созерцательный час, в час перехода дня в ночь, шли медленно, как иностранцы, то и дело останавливалась и разглядывая все, что нам ни попадалось навстречу: будь то девушка с букетом роз, или старик в папахе, медленно движущийся на ишаке— цоканье копыт гулко раздавалось в предвечернем воздухе, или двое малышей, стоящих в подворотне и держащихся за руки, с удивлением смотрящих на нас, а больше на моего приятеля, который важно вышагивал в матроске, с перекинутой через плечо сантарной сумкой, где покоялась заветная бутылка, которую он время от времени доставал и, опрокинув "горло в горло" и

сделав порядочный глоток, передавал мне.

— Друг мой,— говорил он при этом.— Что есть нынешняя наша с тобой экзистенция? Так: один глоток и не больше.

Как сказал один философ: природа— это бурдюк, в котором надо уметь приложиться. Тот, кто этого не делает, пускай отправляется на кладбище: там место страдальцу. Их видно веритас, или, как сказал один писатель, "праздник нося всегда с собой."

Он смеялся и хлопал по своей санитарной сумке, где почкоилась заветная бутылка, и я не мог ему не улыбнуться, ему, важно вышагивающему по дороге,— он мне напоминал хорошо известного литературного героя, обжору и хвастуна, который однажды отправился охотиться на львов.

Был месяц май, тот чудесный, по этим местам, месяц, когда жара днем достигала 35 градусов, а вечера были прохладные, приятные, и мы проходили по готовящемуся к ночи селению, с его начищающимися кое-где зажигаться огнями, с дымами, запахами печных лепешек, пригнанного скота, молока, шерсти,— и нас поражало, как много на улице детей.

Медленно поднимались дымы, стояли тутовые деревья над глинобитными заборами: за заборами виднелись дети, текли арыки, над арыками склонялись дети, по дорогам шли дети— и день гас в наших глазах спокойно и медленно, ни к чему не обязывая, не призываая, ни с чем не борясь, чувствовалось, как земля начинает дышать, отдавая накопленное тепло, а деревья свежели своей листвой, неся мягкую прохладу, зажигались огни, стояли у подворотен старики, начинали лаять собаки.

— Какая удивительная жизнь, — думалось мне, — вот так бы ее и прожить — ничего особенного не желая, ни к чему не стремясь, а только растя детей и сидя на земле.

И большие города, как видения больших кораблей, тонули во мраке, раскалывались на куски, рушились от землетрясений, города с бегущими людьми, города-одиночки, как и их жители, потерянные и одинокие.

Мы приходили в сумерки к белому домику с зарешеченным окном, домику, так напоминавшему мне домик в одном итальянском фильме.

Наступала теплая южная ночь, и земля просыпалась, оживала, начинала неумолично звенеть и стрекотать, шуршать травой, шелестеть кустами, шептали тихо стоящие деревья, а ночное синее небо стояло над всей округой, то зажигая, то гася звезды — космическую пыль, светящийся жемчуг — и они глядели на нее своей красотой.

Наступала теплая южная ночь. И в белом домике сквозь зарешеченное окно был виден свет, слышна была музыка, впрочем, не настолько громкая, чтобы быть слышимой далеко, разве только в этом дворике, где в определенное время, освещив двумя фарами двор, въезжал на своем газике сосед-туркмен и, звеня ключами и посвистывая, проходил к своему дому.

Раздавались шаги по деревянной веранде — и все смолкало.

— Она учительница,— сказала она,— она после распределения. Вообще ей давно уже здесь надоело. Но что поделаться.

Мы сидели на улице перед окном, и она мне рассказывала историю своей любви к дагестанцу: о том, что его родители были против брака на Бербайджанке и привели ему невесту из Махачкалы, которую он до этого никогда не видел.

Из дома слышалась перурская ~~южнокавказская~~ песня, песня о двух влюбленных, чья любовь давно уже прошла, хотя они были еще вместе.

Было что-то грустное в этой песне и в ее рассказе, а также и в ее голосе, где примиренность была соединена с печалью.

И та простота, с которой она мне рассказывала эту историю, так поразила меня, что я почувствовал нежность и жалость к ней, к ней, "затерянной в ночи", в далеком селении с двумя такими же, как и она, учительницами, живущими в одном доме.

"Ах, если бы я мог ей помочь,— думал я тогда.— Ну разве нельзя ей помочь?"

Над нами было южное звездное небо, звенели цикады, тихо стояли деревья, слышалась музыка, и все было так прекрасно, так хорошо, что казалось так будет и всегда, ибо разве может быть что-нибудь не прекрасно в этом мире, когда он сам прекрасен. И разве может быть поэту не прекрасными девушка, сидящая рядом со мной, и я— с ней?

— Вы уедете? Ах, вы все равно уедете!— говорила

она тихим голосом.

И глаза ее, освещенные ночным светом звезд, мерцали в темноте, напоминая мне почему-то грустные глаза обезьянок, смотрящие сквозь ветви деревьев в кинообъектив этого скорбного мира.

— Неужели? — думалось мне, — неужели нельзя как-то так, чтобы всем было хорошо, как-то так, чтобы все были счастливы? И он, и она, и я?

И нежность и жалость к ней, рядом сидящей, и ночное южное небо вдыхали в меня любовь, а печальная песня, слышавшаяся из-за зарешеченного окна — желание быть красивым.

И я уходил от нее под тихое лепетанье листвы, под шепот ночных деревьев, застывших перед красотой этого мира, с его дрожащим, словно вибрирующим, воздухом, и любовь уже рождалась во мне, уже свивала во мне гнездо, и, глядя в ночное ясное небо с его многочисленными звездами, я поднимал к нему лицо и улыбался, счастливый.

Тогда я не хотел думать, что "это" когда-нибудь кончится.

Потом она приехала ко мне.

Ко мне? Кто я? "Вечный бездельник и неудачник, который все бросал и бросил и однажды ушел в сторожа."

Кто я? "Писатель, написавший два десятка рассказов, которые никому не нужны, кроме себя."

Кто я? "Человек, потерявший свою жену, которая не вынесла бедности и "сбежала со штабс-капитаном".

И, наконец, кто я?

"Мечтатель и чудак," складывающий свои сочинения, как скупец складывает деньги, верящий в свой талант, а вернее, в тот свой "внутренний" голос, который заставляет жить, подчиняясь некоему подвижничеству, что со стороны иногда кажется безумием.

И вот ко мне она и приехала.

А в Ленинграде шли дожди, и было необычайно холодно. И мы проходили по мокрым опустевшим улицам, и она жаловалась на холод и на этот чуждый ей город с его одиночеством и скучой, с его мчащимися по улице машинами- куда? к славе ли? к бессмертию? - а я думал о своей бедности, и она под этим дождем казалась мне потерянной и одинокой...

.../ азерб/ Велик Аллах, и нет печальнее любви под солнцем, когда к ней примешиваются слова: национальность, нищета и поэзия.
